

Людмила

Рублевская



СТАКАН ТЬМЫ С ПРИВКУСОМ КРОВИ

Кто сказал, что ночь – слепая? У нее – тысячи глаз. И все безжалостные, словно прицел нагана.

Может, так просто казалось оттого, что в городе царил черная осень, которая бесстыдно сбросила с себя последний сентиментально золотой листок, что под окнами скитался поздний вечер, в то время как порядочные обыватели даже чай уже выпили, а холодный дождь стегал, стегал, стегал невидимыми в темноте плетью полумертвую землю в непристойных гнилых лохмотьях травы и листвы. Короче, совершенные декорации для готического романа...

Федор не слишком любил готические романы. Если по правде, то он прочитал их всего два – в старом издании, еще с ятями, на пожелтевшей бумаге... Нашел на чердаке, в сундуке, в котором бабушка хранила поеденные молью старорежимные салоны да шляпки, за которые, видимо, родственники Федора не смогли в свое время выменять и горбушку ржаного хлеба. Книжки, тяжелые, пахнущие плесенью, словно увлажненные слезами уездной барышни, назывались «Замок Отранто» и «Франкенштейн».

Только уездных барышень пугать... Призрачные монахи, пустые рыцарские латы, которые ходят по замковым стенам, живые трупы и замурованные монашки... Тот, кто прошел войну, вряд ли испугается призрака, а тот, кто побывал в современных подземельях, вряд ли ужаснется, представив ржавые цепи на голых кирпичных стенах...

Дождь так сильно ударил в стекло мокрой лапой, что Федор словно почувствовал на лице мелкие мокрые капли. Даже электрический свет лампочки вздрогнул, как огонек классически-готической свечи.

Надо задернуть занавески... Когда-то белоснежные, туго накрахмаленные, сейчас они напоминали одновременно облетевшую цветень и паутину. Еще бы – полгода без хозяйки... И воздух в доме мертвый, нежилой – как ни проветривай, как ни протапливай печку.

А ходить еще трудно. И руки дрожат. На правой время от времени огнем горит мизинец, лишенный ногтя. Вот холера. Ничего, тело сильное, тело выдержит. Восстановится, обретет былую живость, как рыба, что сорвалась с крючка.

А что касается души... Советский офицер в душу не верит.

Поэтому то, что невыносимо щемит, порождая ночные ужасы, смело можно назвать испорченными нервами.



Федор горько улыбается, его широковатое, с крупными чертами лицо на мгновение темнеет. При взгляде на такого, как он, и мысли о нервозности и чувствительности не должно возникать. Наверное, так когда-то выглядел профессиональный охотник на зубров – коренастый, крепкий, с внимательными, прищуренными глазами под густыми бровями.

Не-ервы...

Слава Богу, что не безумие.

Хотя советскому офицеру, даже за полшага до отставки, не полагается упоминать Бога...

Быть внуком буржуазного националиста и мракобеса ему тоже не полагается, правда, кости никогда не виденного деда уже лет семьдесят, по-видимому, гниют в ненасытной сибирской земле. Но на фронте погоны дают не за происхождение.

Его биографию перетряхнули за эти дни, наверное, до седьмого колена...

И зачем ему захотелось в том проклятом городке соскочить с поезда, чтобы сбежать в вокзальный буфет! Теперь любой чай для него будет с привкусом крови.

Очередной мокрый удар дождя в окна, и – синхронно – стук в дверь.

Призрак не мог бы выбрать лучшего момента для своего появления.

Герой готического романа притих бы и сквозь озноб стал вслушиваться в таинственные звуки и принуждать себя к действию... Федор просто похромал к двери и открыл ее.

Лучше бы это был призрак.

Светловолосая круглолицая девушка с голубыми, широко посаженными глазами, с упрямым носиком, усыпанным едва заметными веснушками, в серой шинели, насквозь промокшей, смотрела на хозяина, как черная осень. Просто и беспощадно.

Хотя, собственно говоря, ничего страшного в девушке не было. Наоборот – если бы он впервые встретил ее на танцплощадке, мог бы пригласить на вальс. Этой ядреной девушке хотелось дать в руки серп (либо, в силу женского равноправия, молот) и сфотографировать для первомайского плаката. Конечно, если бы не потоки воды, которые жалобно стекали со светлых кос, и не застывшее выражение круглого лица.

Но Федор отдал бы все на свете, чтобы больше никогда не видеть этих голубых глаз. Невольно всколыхнулся тоскливый испуг: неужели еще не все? Он больше не может... Не хочет... Звериный, позорный страх... Федор подавил его. Как там говорила бабушка... Никому не будет дан крест тяжелее того, который он может понести.

Гостья холодно произнесла:

– Позвольте войти, товарищ Сапезинский.

Вот как, «товарищ»... Может, не так все плохо? Добавил в голос уксуса и желчи:

– Как я могу вам отказать, товарищ Рабко...

Федор отступил в комнату, взгляд его невольно скользнул в дождь и темноту – сколько призраков из недавнего прошлого еще выплывут? Девушка заметила взгляд хозяина:

– Я пришла одна.

Хозяин постарался не выказать удивления и облегчения. Он прикрыл дверь, стараясь даже случайно не прикоснуться к фигуре в мокрой шинели... Потому что было глупое ощущение – от этого прикосновения стошнит, как нервную барышню от прикосновения к старой губастой жабе.

Дождь, ночь и осень ждали за дверью. Смерть смотрела голубыми, широко расставленными комсомольскими глазами.

– Я одна. Я пришла без оружия. И... никто не знает, что я у вас. И... вот...

Она протянула исписанный круглым школьным почерком листок.

Федор молча взял.

«Я, Валентина Рабко, ухожу из жизни по собственной воле. Прошу никого не винить в моей...»

Что за бред?! Федор растерянно поднял глаза на гостью. Та смотрела куда-то за плечо, в нежилую тишину оставшего дома.

– После того, что я... с вами делала... Я... – выдохнула, словно готовясь нырнуть в холодную воду. – Короче, я сделаю все, что вы хотите.

И смотрит, чуть ли не с вызовом.

Вот как... Федор не знал, смеяться ему или плакать. Уездные барышни не изменились за последние десять веков. Хотя им вручили по комсомольскому билету, научили приемам самбо и наделили полномочиями. Совесть молодого сотрудника КГБ замучила. Чудеса. И что, он, Федор, должен эту ее большую совесть лечить? Чем? Приказать повеситься? Или собственноручно придушить? Действительно, в течение бесконечных десяти дней мечтал об этом, считай, ежеминутно.

...После двух лет службы в побежденной Германии (в военной части в Потсдаме) он получил направление в Великие Луки, в артиллерийскую бригаду. Мечтал демобилизоваться, ведь давно закончилась война. Вернуться в университет, взяться за диссертацию, погрузиться в любимые цифры-формулы... В штабе Великолукской бригады оказался бывший однополчанин, скандалист, но хороший мужик, поэтому была уверенность, что поспособствует. А пока авансом выпросил у него незаконную услугу – задержаться на несколько дней, чтобы заехать в родной дом. Бабушка полгода как умерла, дождавшись Победы, но не дождавшись его, внука. Хотя ему так необходимо было успеть сказать ей кое-что... Мать погибла еще в войну – попала под бомбежку, когда возвращалась с барахолки, где выменивала какую-то кофту на еду.

Так что он ехал на родину, счастливчик, избранник судьбы, и его никто не ждал. Руки-ноги целы, на груди – три медали и орден, на погонах новенькие капитанские звездочки...

Когда до родного города оставалось ехать часов пять, поезд задержался на станции областного центра, и распространился слух, что простоят здесь не меньше часа. Люди возмущенно загудели. Кто-то продолжал дремать, некоторые потянулись на соблазнительные огни станции. И он тоже...

Эти минуты он прокручивал в памяти бесконечно. Вот буфетчица в накрахмаленной белой шапочке, и словно приклеенный ко лбу каштановый завиток, подает стакан с чаем, улыбается. Вот он стоит один у маленького столика – деревянный грибок на тонкой-тонкой ножке... Неподалеку, за таким же «грибком», семейная пара – молодые, он в ватнике, она – в протертом пальто и белом платочке. Странный старик в шапке-треухе, облезлой так, что невозможно определить, из какого зверя она, в такой же облезлой шубе, с сумой в руках, со страшно худым лицом, изрезанным глубокими морщинами и заросшим черно-седой щетиной, ходит меж столиков, ничего не прося, но, конечно, ему дают – кто сухарь, кто вареную картофелину. Взгляд светлых, как речные камешки, глаз старика ни на чем не мог и на мгновение остановиться – так переступают босыми ногами по горячим углям, когда каждое промедление откликнется болью.

Вдруг глаза старика уставились на Федора – словно наткнулись на что-то острое. На дне их всколыхнулся безумный ужас, старик согнулся, как от боли, и заорал: – Это ты! Ты стрелял! Я узнал тебя, фашистский гад! Ты!

Дальнейшее напоминало дурной сон.

Сумасшедшему верили. Ему, Федору – нет. Сумасшедший был свой, он остался последним свидетелем страшного расстрела, после чего и поехала у бедолаги крыша. Народ все еще болел войной, иногда казалось, что людей на костылях, на колясках – досках на колесиках, на улицах городов больше, чем здоровых. По всюду ловили шпионов, полицейских, замаскированных фашистских недобитков. А у Федора оказались немецкие часы, красивый кожаный блокнотик с немецкими словами, тиснеными на обложке, а в блокнотике – формулы, циферки... И еще – потрепанная книжка карманного формата на немецком языке. Мэри Шелли, «Франкенштейн».

И по документам выходило, что теперь он должен быть не здесь, на этой железнодорожной станции, а в военной части Великих Лук.

Все довершил звонок в Великие Луки. На вопрос, прибыл ли на место службы капитан Федор Станиславович Сапежинский, бодрый голос ответил, что пусть бдительное начальство не волнуется излишне, так как фронтовики в отличие от тыловых крыс никогда не опаздывают. Однополчанин, как обещал, «отмазывал», нагло (и привычно) нарушая военный устав ради фронтового братства...

Для Федора это дружеское геройство означало приговор.

Он мог понять силу ненависти горожан. В нем уже многие «узнавали» убийцу своего отца, палача сестры, губителя детей... Сказывалась инстинктивная потребность – увидеть виновного в том, что обрушилась твоя жизнь, и пусть он заплатит...

Почему-то ярче всего запомнилось, как с него сдирали медали...

Конечно, он знал, что ошибка рано или поздно выявится.

Но очень скоро стало казаться, что это навсегда, и надежды нет. Он пытался быть спокойным, и объяснял, и ставил себя на их место – сам же, когда нужно было, выстрелил предателю в затылок, не колеблясь, и никакого сожаления не имел к молоденькому белокурому юноше, считай, подростку. Словно тот и человеком перестал быть после того, как, подняв руки и нелепо пригнувшись, двинулся в сторону немцев, всхлипывая, причитая, умоляя...

А потом появилась она, ежедневно (или еженощно?) на несколько часов подменяя искушенных борцов со шпионажем. Как он понял, доверили «сбивать с него спесь» товарищу Валентине именно потому, что это особенно обидно – взрослый крепкий мужик полностью во власти стервозной девки. Только-только окончила курсы, амбициозная, страшно переживает, что не успела повоевать на фронте...

Свое первое задание товарищ Рабко исполняла со стахановским энтузиазмом. Федора снова передернуло от воспоминаний. А теперь она стоит перед ним, и говорит, что выполнит все...

Федор сжал зубы, помолчал. И проговорил холодно:

– Ну давай, раздевайся.

Гостья, не изменившись в лице, расстегнула пуговицы мокрой шинели, чуть не обломав ногти на коротких сильных пальцах. Поискала, куда положить шинель... Взглянула на неподвижного хозяина... Бросила на пол. Взялась расстегивать кофточку, на минуту замешкалась:

– Только... Я мало что умею. Ну... Такого...

Федор едва не застонал от отвращения – к ней, к себе, к ситуации.

– Отставить! Идиотка!

От его крика она едва не рухнула. Глаза – аж круглые от испуга. Что ж, ему нужно было перекрикивать пушки, когда командовал орудийным расчетом.

– Застегнитесь, мадам.

На ее щеках зарделись пятна. Как у героини первомайского плаката. Мертвый воздух дома, казалось, сгущается, как перед грозой.

Федор цедил сквозь зубы:

– Значит, хочешь, чтобы я с тобой что-то сотворил – в знак прощения? Так что с тобой сделать – изнасиловать? Набить морду? Поставить на колени часиков на десять? Или пристрелить? А?

Валентина сглотнула, уставившись в пол с разводами неумело вымытой грязи.

– Что, трудно чувствовать себя сволочью?

Она прикусила губу.

Федор жестко продолжал:

– Я не дам тебе облегчения, оказавшись сволочью сам.

– И... как мне дальше... жить с этим?

И смотрит ясными голубыми глазами. Кто знал, что у барышни такая тонкость чувств.

– Как жить? – Федор улыбнулся. – А как живут твои старшие коллеги, которые меня допрашивали? Почему лейтенант Кравец или майор Тусклый не приехали ко мне с просьбой набить им морды? Спят по ночам спокойно. Что они тебе сказали? Что вы все просто выполняли свою работу, да?

– Да... – Валентина крутила пуговицу на кофточке, словно этот костяной кругляшок смертельно провинился перед ней. – Сказали, что лучше, если пострадают десять невинных, чем пропустить одного настоящего диверсанта или предателя.

– А ты, значит, так не считаешь? Верить, что до меня не арестовали ни одного невинного? И что я – последний, кого забрали по ошибке?

Товарищ Рабко стояла, понурившись.

– Не знаю...

Ветер за окнами снова начал беситься, бросаться в окна, словно голодная птица. Люди также в поисках спасения летят на свет красивой идеи и не понимают, что за невидимая стена внезапно вырастает перед их искренним порывом, почему о нее разбиваются их судьбы.

Земля под стенами каждой утопии покрыта перьями и залита кровью. А в теплом доме, у очага радуются своей справедливости избранные... Которым не дано жалеть тех, что слепо бьются в окна.

Девушка переступила с ноги на ногу, Федор понял, как она устала. Что ж... Надо заканчивать разговор. Приглашать присесть как-то не хотелось. Вот же не повезло девке – первое задание, и попала на ошибочно арестованного героя войны.

– Надеюсь, вы поняли, что мне от вас ничего не нужно?

Валентина пригладила мокрые косы. Слова застревали в ее горле. Наконец она сказала:

– Мне... мне... страшно себя самой. Это оказалось так... просто. Делать другому больно. Унижать.

– Вам еще не раз придется это делать, – равнодушно произнес Федор. – Это, извините, работа, которую вы выбрали. Не чувствуете в себе достаточно силы – уходите.

Девушка упрямо закрутила головой:

– Я врагов ненавижу. Фашистов жалеть не собираюсь.

Федор смотрел в правый дальний угол, туда, где еще на его памяти когда-то висела икона, и ему, совсем маленькому, бабушка объясняла: «Это Боженька, Феденька. Он добрый, он всех прощает».

– Я родился в год революции, – медленно проговорил Федор, чувствуя, как жадно Валентина ловит его слова – впервые без издевки и гнева. – Я очень горд, что я ровесник Великого Октября. Когда мне было шестнадцать, нам в пионерском отряде рассказали о Павлике Морозове, замученном кулаками. Мы также все захотели совершить нечто героическое, стать похожими на Павлика. На следующий день каждый должен был на общем собрании разоблачить какие-либо проступки перед советской властью родственников или соседей, особенно если кто из них прячет в доме иконы, или другие предметы культа, или антисоветскую литературу, или оружие. Я готовился, аж на месте подпрыгивал от нетерпения. И когда настала моя очередь, спеша, сообщил, что на чердаке нашего дома стоят большие сундуки, в одном старая одежда, а в другом бабушка прячет подозрительные бумаги, написанные на иностранном языке. Я как-то туда украдкой лазил, видел...

Меня похвалили. Товарищ в военной форме долго тряс руку и говорил о пионерской честности... Я был счастлив. А вечером того же дня у нас начался обыск.

Сундук с бумагами уволок вниз. Пожелтевшие листы, исписанные неровным почерком. Если сложить в одну стопку, были бы, наверное, высотой с меня.

– Польские документки! – удовлетворенно объявил один из тех, кто делал обыск.

Бабушка голосом, которого я у нее никогда не слышал, начала объяснять, что это написано не по-польски, а по-белорусски, что это архив ее мужа, моего деда. Белорусский язык был запрещен, и поэтому писали латинскими буквами и не имели возможности печатать. А дед был хотя и очень верующий, но борец за народную волю, его сослали в Сибирь, где он и умер, а имение конфисковали, и они с маленькой дочкой, моей матерью, переехали сюда, в город, в маленькую хату... И бумаги имеют большую ценность для Беларуси... И... если их сейчас заберут, это будет для нее все равно, что второй раз забирают ее мужа...

И бабушка начала давиться слезами. Это немного уменьшило мою гордую радость – потому что я ни разу не видел, чтобы бабушка плакала.

Товарищ, который руководил обыском, полистал бумаги и сказал, что они все – на религиозную тематику. Все пропагандируют христианские пережитки. А если у моего деда было поместье, значит он представитель эксплуататорского класса. И ничего ценного в этих истлевших кипах быть не может.

Бумаги увезли, и мы о них больше никогда ничего не слышали. А бабушка больше никогда со мной не разговаривала. Она... принципиальная была. Как-то я беседовал с коллегой по университету, с филфака... Тот, узнав историю о пропавших бумагах, чуть седые волосы на себе не рвал. Такие ценные исторические документы исчезли.

И я, только повзрослев, понял, что сделал. Но уже не у кого просить прощения.

Валентина с недоумением смотрела на хозяина.

– Но... вы же просто выполняли свой долг. Вы сделали правильно.

Федор горько усмехнулся:

– В таком случае и ты все делала правильно. Фашисты тоже были убеждены, что все делают правильно. Что нас можно уничтожать, так как мы не люди. Я ходил по территории концлагеря, там, в Германии... Больше всего меня поразило знаешь, что? Порядок. Чистота. Разложенные в отдельные кучи пальто, кофты, обрезанные волосы, детская обувь... Их владельцев сожгли в аккуратных crema-

ториях – строго по спискам. Вечером после «экскурсии» мы заставили пожилого немца, хозяина дома, где временно квартировали, вычистить наши сапоги. Мы не били его, не оскорбляли, не стреляли над ухом из пистолета, как, наверное, делал его сын на захваченной славянской земле. Просто стояли молча и смотрели, как чистокровный ариец, усердствуя, потея от страха, начищает, начищает, начищает грязную кирзу.

Федор скрипнул зубами от внезапного прилива ненависти.

– И ни он, ни его бургеры-соседи не хотели знать, что делается за украшенными колючей проволокой стенами за пару сотен метров от их домов. Человек очень легко превращается в зверя. И очень легко убеждает себя, что правда – на его стороне. Вот моя мать... Она погибла, когда шла на базар, что-то выменивать... То есть жила при немцах, что-то пыталась заработать, торговала... Что ж она, предательница была? Если мерить строго – то так... А если не по гебистски, а по-человечески?

Вдруг девушка словно переменялась. Подняла с пола мокрую тяжелую шинель, натянула на себя – без нервозности, быстро, но уверенно. Застегнулась, мрачно выпрямилась. Федор вздрогнул... Он узнал прежнюю сотрудницу КГБ, без пола и возраста – человек-функция, которая смотрела с безразличной ненавистью и краснела от наслаждения, когда ему становилось нестерпимо больно.

– Я действительно все делала правильно. Засомневалась, дура. А ты... ты сравниваешь сотрудников комитета государственной безопасности с фашистами?! А еще фронтовик... Панская порода, одно слово!

Она выхватила из его рук свою «предсмертную» записку.

– Послушай, ты неправильно поняла...

В ответ хлопнула дверь.

Федор, изможденный, опустился на венское кресло со спинкой в виде деревянного вензеля, прижал забинтованную руку к груди, как ребенка. Даже начал укачивать – чтобы успокоить пульсирующую боль. Разболтался, дурак... Нашел кому душу открывать. Тоска, брат, до добра не доводит... Пожалел гадюку. На фронте было проще... Мысль показалась такой крамольной, что Федор даже головой потряс, чтобы отогнать этот бред.

За ним пришли назавтра. На этот раз ошибка исключалась. Он должен отвечать за себя. Спросили с него по полной. Не судьба попасть капитану Сапегинскому в Великие Луки. По крайней мере, в ближайшие пятнадцать лет, на которые его осудили. С Валентиной Рабко он во время следствия не встречался – только узнавал в цитатах из доноса ее голос.

...В поезде Минск – Москва дружно позвякивали казенные ложечки в граненых стаканах с чаем. Кто-то из немногочисленных пассажиров, может, чтобы отогнать тоску, что неизбежно возникает при взгляде в осеннюю тьму, что сгущается за окнами вагона, и предчувствие бессонной ночи, разворачивал домашние припасы – бутерброды с колбасой, запеченную курицу, воспетую в качестве дорожной пищи еще Ильфом и Петровым... Ну и кое-что еще, чтобы не есть всухомятку...

Немолодой коренастый пассажир, оказавшийся один в купе, довольствовался ячменным кофе. Во-первых, натурального кофе в поезде не оказалось, во-вторых, он не любил чая. Когда он помешивал ложечкой в стакане, можно было заметить, что на мизинце нет ногтя. Что ж, по возрасту пассажир должен был пройти войну, поэтому никакие шрамы и следы ранений не удивили бы наблюдателей, но мужчина в купе находился в одиночестве. Коротко стриженные волосы почти седые, но от всей фигуры исходит спокойная сила: мощные плечи, широкое в скулах лицо, внимательные темные глаза. Крепкое сложение особенно бросалось в глаза, потому что пассажир повесил свой пиджак в угол купе, на деревянные плечики, и остался

в серой водолазке – стильном тонком свитере с воротником под горло (такие в Советском Союзе еще не делали). Мужчина отпил кофе и бросил печальный взгляд на стопку папок, которые лежали тут же, на столике. Ну не было времени как следует подготовиться к конференции. Значит, придется просматривать сейчас. Опять не удастся выспаться...

В дверь купе постучали, скорее символически, чем спрашивая разрешение войти, так как дверь тут же распахнулась. Проводница, грузная, вся словно вылитая из какого-то твердого материала, с невыразительным плоским лицом и светлыми, широко посаженными и такими же невыразительными глазами, громко спросила:

– Белье брать будете?

Единственный обитатель купе почему-то молчал, глядя на хозяйку вагона, как искусленный искусствовед на отлично известную ему картину выдающегося мастера, которую только что объявили подделкой.

– Мужчина, не задерживайте меня! Если будете брать, один рубль пятьдесят копеек.

Пассажир, стряхнув с себя оцепенение, потянулся в угол, к пиджаку, достал из внутреннего кармана портмоне.

– А деньги, мужчина, в общественных местах при себе держите. А то пропадет какая-нибудь ерунда, на проводника сразу насаждают. Кто-то у них всегда виноват...

Сварливый голос проводницы звучал уже в коридоре, было слышно, как она стучит в дверь следующего купе...

Федор закрыл лицо руками.

Не узнала... Или сделала вид, что не узнала? Разве по ней поймешь...

Да и о чем им говорить? Или товарищ Рабко снова захочет покаяться перед ним, теперь уже за шесть лет лагерей, куда попал после ее доноса, в Сибирь, как когда-то его дед? Нет, каяться дама не будет. Скорее, до сих пор сожалеет о своей юношеской временной слабости, когда приехала в дом бывшего подследственного со смешной запиской «Прошу никого не винить в моей смерти», готовая даже быть убитой, лишь бы избавиться от укоров совести.

А может, захочет и сегодня доказать, что... органы не ошибаются?

Мерзкий холодный страх зашевелился под сердцем, как улитка. Вот же – заметила, наверное, что на нем иностранные вещи. А во время последней командировки в Братиславу был тот ненужный и слишком откровенный разговор с соотечественником-эмигрантом... И Сапежинский, когда писал закрытый отчет об их научной группе – а что вы думали, выпустил бы его кто за границу, если бы не согласился «отчитаться» перед органами? – обо всех коллегах честно написал, а об этом своем разговоре – нет. А потом ему передали от того эмигранта ностальгический подарок – готический роман «Франкенштейн» в переводе на белорусский язык. И он с радостью принял. А еще есть записанные по просьбе приятеля-историка воспоминания – все, что знал про деда, теолога и повстанца. Совсем мало, обрывки подслушанных бабушкиных разговоров, то, что осталось в памяти из просмотренных дедовых бумаг – опять отдельные фразы, названия произведений... Приятель сказал – пока, конечно, это не пойдет, но когда-нибудь... Обещал никому не показывать...

Есть и еще грешки... Теперь донос, пусть от обычной проводницы – и накроется поездка в Люблин...

В конце концов, для него все закончилось хорошо. В лагерях попал в специальное техническое бюро – выручили научные знания, артиллерийский опыт и удача: как

раз срочно понадобился специалист его профиля. Потом – освобождение в переломном пятьдесят третьем, после смерти Сталина. Реабилитация, университет...

А вот у товарища Рабко, кажется, карьера не удалась... А он думал, что она уже как минимум майор или подполковник.

Поезд продолжал свою монотонную песню, то ли жалуясь, то ли безнадежно проклиная, словно металлический Франкенштейн, оживленный для рабского труда. И никому не было дела до его механических усилий, до того, правильно ли бьется его железное сердце, и до машиниста, который всматривается в ночь, в которую летит будто бы сам по себе временный дом для нескольких сотен людей, который так легко может стать их последним домом, превратиться в лодку Харона.

...Поезд по одной выплевывал заспанные души на мрачный, как берег Леты, перрон Белорусского вокзала. Федор Сапежинский, в плаще, с портфелем, в надвинутой низко на глаза шляпе протиснулся мимо проводницы... Но взгляд как будто сам по себе скользнул в сторону. На мизинце короткопалой руки, которая держала красный флажок, не было ногтя.

Когда Федор, уже отдалившись от ярко освещенного вокзала, проходил мимо урны, то, осторожно оглянувшись, выбросил в нее завернутый в газету «Правда» потрепанный карманный томик с готическими буквами на обложке.

2008

Перевод с белорусского автора.

Людмила Ивановна Рублевская родилась в 1965 году в Минске. Окончила Минский архитектурно-строительный техникум, филологический факультет Белорусского государственного университета, училась в Литературном институте им. М. Горького. Поэт, прозаик, журналист, литературный критик. Автор более 20 книг поэзии и прозы. Лауреат конкурса драматургии «Купалавы далягляды», премии «Залаты апостраф» журнала «Дзеяслоў» и премии Франтишека Богушевича. Живет в Минске.

